

Михаил Петрович Арцыбашев

# Палата неизлечимых



# Михаил Петрович Арцыбашев

## Палата неизлечимых

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2848875](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2848875)*

### Аннотация

«Отворилась высокая белая дверь, и сиделка ввела нового больного.

Запахивая полосатый халат, твердым, даже стремительным шагом больной вошел в палату и быстро огляделся, беспокойно поворачивая голову на длинной, голой в широком вырезе халата, точно железной шее. Эта длинная негнушавшаяся шея и чрезмерно блестящие, с выражением страшного напряжения глаза производили странное и даже жуткое впечатление...»

# Содержание

I	4
II	18
III	28

# Михаил Петрович Арцыбашев Палата неизлечимых

## I

Отворилась высокая белая дверь, и сиделка ввела нового больного.

Запахивая полосатый халат, твердым, даже стремительным шагом больной вошел в палату и быстро огляделся, беспокойно поворачивая голову на длинной, голой в широком вырезе халата, точно железной шее. Эта длинная негнушащаяся шея и чрезмерно блестящие, с выражением страшного напряжения глаза производили странное и даже жуткое впечатление.

С усталым и равнодушным лицом сиделка подвела его к узкой, похожей на все остальные, кровати и сказала равнодушным голосом, в котором, казалось, не было звуков, как в голосе судьбы:

– Вот тут вы и будете жить пока.

Больной дико повел своими страшными глазами, стремительно шагнул и сел на кровать, продолжая оглядываться кругом с таким видом, как будто властно проверял, все ли

сделано так, как ему хочется, чтобы сейчас же приказать убрать то, что ему не нужно.

Голые стены высоко обступили его со всех сторон, ограждая взгляд. Белый и обширный потолок висел над головой и, против воли рождал мысль: что там, за этой холодной, мертвой преградой, и похожей и не похожей на тусклое небо осеннего дня?

Сначала больному показалось, что в палате слишком много людей; но гартон он разобрал, что их только четверо-пять, считая с ним, – и что кругом достаточно места, чтобы поместить еще много таких же кроватей, таких же столиков с убогим имуществом умирающих, таких же черных дощечек с их короткими паспортами, таких же изуродованных страданием человеческих тел.

Ближе к окнам, лившим в пустынную холодную палату потоки белого света, лежали – мальчик с большими, точно вырезанными, наивными глазами и красивый, с лицом благородного римлянина, молодой человек, осматривавший нового больного немного любопытными, немного насмешливыми, добродушно-ироническими глазами. Рядом с ребенком на длинной узкой кровати сидел высокий худой старик с раздвоенной седой бородой, нависшими лохматыми бровями и огромными корявыми руками мужика. Он смотрел на нового больного острыми, сверлящими насквозь, как два бурава, глазками и держал свои громадные руки так, точно перед ним были плуг и необозримая, требующая работы земля.

Новый больной стремительно обежал их блестящим взглядом. Слишком пристально, точно, соображая – уничтожить или не уничтожить, осмотрел он ребенка, старика и ленивого красивого римлянина, потом напряженно уставился на четвертую кровать, на которой тупо и неподвижно возвышалась целая гора человеческого тела. Он смотрел долго, дико, как бы не совсем уясняя себе причину своего изумления, потом резко дернул железной шеей и отвернулся с гримасой судорожного отвращения.

Этот четвертый больной был самым несчастным из всех: огромное тусклое лицо его все было обезображено белыми рубцами и отвратительными язвами, кровоточащими, странно шевелящимися, точно в них уже при жизни поселились могильные черви. На жестком коричневом одеяле лежали его опухшие, с отвалившимися пальцами, никуда не годные руки, под одеялом горой возвышались похожие на бревна ноги, которым уже не суждено было ходить.

Все остальные еще казались живыми, обыкновенными людьми. И наивные вырезанные глаза мальчика, и красиво ленивый профиль благородного римлянина, и рабочие руки высокого старика не говорили о смерти. Даже трудно было представить себе, что они неизлечимо больны страшной болезнью и рано или поздно осуждены на безобразную мучительную смерть. Четвертый в своем обезображенном лице, в тусклых, тоскливо глядящих глазах, в куче своего разлагающегося тела был уже – сама смерть... Труп, вытщенный

из могилы и кому-то на потеху брошенный посреди живых людей.

Новый больной упрямо сидел на своей кровати в той же позе, в которой застыл сразу, как будто отказываясь от всякого движения, в ненависти осужденного, говорящего своим палачам:

– Делайте, что делаете... я ничего не хочу!

Так сидел он очень долго. Сначала все больные были заинтересованы этим пришельцем из другого мира, неизвестно откуда, зачем и как пришедшего к ним. Потом привыкли, и каждый вернулся к своим заботам и мыслям.

День начинался. В огромные белые окна лился равнодушный холодный свет. Глухо и непроницаемо стояли кругом стены, ограждающие взгляд. Висел белый потолок, и в его тусклом белом сумраке мерещился какой-то загадочный треугольник, когда-то, должно быть, предназначавшийся для источника яркого живого света, а теперь облупившийся, покрытый пылью и ржавчиной, с покривившимся железным крюком. За окнами были видны высокие, из глаз уходящие стены другого дома и его бесчисленные слепые окна, за которыми, может быть, также жили и страдали люди. Больные этой палаты лишь после смерти должны были выйти на свободу, и слепые окна того дома только будили их праздное любопытство, навсегда скрывая какую-то другую, возможно такую же ужасную, возможно – более счастливую и неизмеримо вышестоящую жизнь.

Иногда там, за темными стеклами, что-то мелькало: не то живые лица, не то какие-то мертвые знаки. Мелькали и исчезали. Вечером же окна горели во мраке, как далекое пылающее созвездие, и ходили среди них непонятные тени, пугая и тревожа больную фантазию.

Молчание мертвым холодом сковывало палату. Все о чем-то думали, и никто не знал, что думают другие, занятые своими мыслями и образами. Людей было несколько, а каждый казался совершенно одиноким.

Но надо было жить.

Первым встал со своей кровати мальчик. У него была огромная голова и очень тоненькая слабая шейка с болезненными синими жилками. Из широких рукавов полосатого халатца высовывались худенькие ручки с бледными неживыми пальцами. Он, покачиваясь, утвердился на тоненьких кривых ножках и побрел к окну. Там, уставясь большими тоскующими глазами в противоположный дом, он прислонился к твердому подоконнику и замер в созерцании, маленький и слабый, у огромного высокого окна.

Новый больной следил за ним блестящими стеклянными глазами.

Мальчик взглянул вверх, вытянул шейку и вдруг всплеснул руками.

– Солнышко, солнышко! – закричал он, и странно болезненно раздался в пустой холодной палате его надтреснутый детский голос, зазвеневший тоскливо мечтательным востор-



ГОМ.

По серой нескончаемой стене противоположного дома ползла золотая слепящая полоса яркого света, и отблески ее отразились в наивных детских глазах, зажигая их золотыми искрами.

И точно этот голосок разбудил застывшую жизнь: задвигались и заговорили другие больные.

Высокий и худой, со сверлящими сумасшедшими глазами фанатика, встал и тоже подошел к окну длинный старик. Он, как на плуг, оперся своими огромными корявыми руками на подоконник и стал смотреть вверх, возносясь взглядом по высокой стене к тому далекому чудному небу, на котором горело где-то золотое яркое солнце и которого во всей его неисповедимой могучей красоте никогда не было видно в этой мертвой, холодной палате осужденных на верную безобразную смерть.

Старик положил на голову мальчика огромную шершавую ладонь и сказал:

– Обрадовался, птенчик Божий!.. Вот оно, солнышко... светит!.. Благодать!.. Любовное солнышко... Вот так-то, мальчуган: живешь, живешь в потемках, блуждаешь во мраке тоски смертной, а выглянуло небесное солнышко – и стало светло, хорошо... Умирать не надо!.. Вот, даст Бог, выйдешь на волю, всего тебя солнышком обогреет, всего вольным духом обоймет... Улетишь отсюда, как птичка на Благовещенье... сольешься со всем миром... Радость безмерная!

Он говорил тихим, глухим, глубоко внутрь провалившимся голосом, а сумасшедшие глаза из-под густых нависших бровей сияли любовным и почти исступленным восторгом.

Четвертый больной, тусклая развалина, обезображенная неизлечимыми язвами разложения, повернул к нему свое ужасное жалкое лицо и сморщился в бессильном усилии не то чихнуть, не то улыбнуться саркастически.

– В могилу он уйдет, а не на волю... радости мало! – сказал он протяжно и гнусаво.

Старик стремительно обратил к нему сверлящие глаза.

– А ты знаешь?.. Ты в могиле был?.. Почто живую душу смущаешь, малонер?.. Ну и в могилу... Ему лучше знать!.. Лучше в могилу с верой уйти, чем без веры на земле гнить!.. Воля Божия, не наша... Тебя не спросили... обидно!

Ленивый римский профиль медленно повернулся на соседней кровати. Сонные прекрасные глаза с выражением равнодушного удовольствия посмотрели на косую полосу золотого света.

– Нет, в самом деле красиво! – сказал он, высвободив из-под одеяла еще не обезображенную болезнью руку с изящными тонкими пальцами музыканта, и стал внимательно осматривать ногти. Потом достал из ящика в столе коробочку с блестящими ножничками, подпилочками и подушечками и принялся что-то подчищать и полировать на своих ногтях.

– Что это завтрака не несут? – лениво, про себя спросил он.

Четвертый больной презрительно скосил гноящиеся глазки, покривил губы и заметил:

– Как вам не надоест этими пустяками заниматься? Все равно ни к чему...

Благородный римлянин с добродушно ленивой иронией посмотрел на него, приподнялся и сел, с удовольствием потирая обнаженную выпуклую грудь, точно прикосновение к своему когда-то бережно выхоленному телу доставляло ему невыразимое наслаждение.

– Надо сегодня ванну потребовать, – опять про себя сказал он.

И как будто четвертый больной не мог выносить его ленивого голоса, сейчас же с соседней кровати раздался хриплый злой смешок.

– Вам бы только есть да нежиться!

– Да будет вам ныть!.. Надоело! – ответил римлянин, и красивые губы его сложились в брезгливую гримаску. – Каждый делает то, что ему нравится... Лучше брать от жизни все, что она может дать приятного, чем ныть, брюзжать, а все-таки... жить и жить!

– Почему вы знаете, буду ли я еще жить? – с истерическим озлоблением вскрикнул развалившийся человек.

Римлянин махнул рукой красивым небрежным жестом.

– Знаю, слышали... Будете жить, ничего... Черт вас не возьмет!

– Слышали? Ничего вы не слышали!.. Вам просто до-

сально, что я глубже и тоньше вижу ту бессмыслицу, которую вы... которой вы не понимаете... красивое животное! – злобно пробормотал четвертый больной.

Римлянин услышал. Он высокомерно поднял брови и гордо посмотрел на противника.

– Хотя бы красивое!.. Это все-таки – что-нибудь.

Лучше быть красивым животным, чем брюзжащей кучей разлагающегося мяса, которое только отравляет воздух и себе и другим.

– Ну, будет вам... – грустно и властно отозвался старик от окна. – И не стыдно?.. Что вы – звери?.. Целый день грызетесь. Чего вы не поделили? Всяк по-своему живет... каждому по-своему тяжело. Вы бы лучше пожалели друг друга, – обоим легче бы стало.

– Надоел он мне, дед! – лениво отозвался римлянин и успокоился, еще внимательнее занявшись своими ногтями.

– Что ж – надоел!.. Грех это. А ты пойми, пожалей, тогда и не будет надоедать. Не сам он тебе навязался... Божья воля связала. Против нее не пойдешь. Ну и терпи. Он, Бог, лучше знает, зачем вас соединил. А что Бог соединил, то человек да не разлучает. Сказано – любите друг друга. Так-то... в любви Бог, в любви и жалости и жить надо. Тогда везде хорошо будет и черные мысли отойдут. Любви в вас мало, жестокие сердцем!

Глухой голос его звучал с суровой и торжественной скорбью. Все молча слушали, подчиняясь непонятной власти.

Мальчик с испугом переводил свои большие наивные глаза с сурового старческого лица на другие.

– Дедушка, – неожиданно вскрикнул он, – гляди – муха!..

Маленькое черное насекомое билось, жужжа и падая, у холодного стекла.

– Муха... действительно – муха! – совсем другим, нежным, умиленным голосом сказал старик. – Ишь ты... насекомая, а живет тоже!.. Ты ее не трожь... пусть себе живет!.. Она – тварь маленькая, а красоту жизни ощущает и себя блюдет. Бог ей жизнь дал... маленькую жизнь, а цена ей, может, огромная!.. Нашей, гляди, больше!.. Ну и блюдет... Человек мудрствует, а муха – она Богу молится. Смотри, как лапками... лапками... умывается, подлая, чистоту соблюдает!

– Тоже и пакостит! – насмешливо заметил четвертый больной.

Муха села на раму, успокоилась и, быстро-быстро перебирая лапками, что-то невидимое счищала с крылышек. Потом деловито приподнялась, точно увидела что-то далеко за окном, и почесала головку.

Мальчик широко раскрытыми глазами следил за нею и даже рот открыл. Муха, должно быть, казалась ему чудом в этой мертвой однообразной палате.

– Какая! – с наивным изумлением протянул он и засмеялся радостно.

Старик погладил его по спутанным волосикам шершавой ладонью и усмехнулся под седыми, в рот лезущими усами.

Мальчик посмотрел на него.

– А какой я сегодня сон, дедушка, видел! – сказал он, на всю палату звеня тонким голоском.

– Какой сон, птенчик Божий? Расскажи... В снах нам иное открывается... Многим пророкам Бог во снах истину открывал. Какой сон?

– О-очень хороший, дедушка! – широко раскрывая вырезанные глаза и точно в мечтательном восторге, глядя куда-то в глубь самого себя, сказал мальчик.

– Ну, ну? – поощрительно поддакивал старик.

– А мне снилось, будто нас перевели в другую палату, дедушка... И палата вся золотая, так и светится, так и играет вся... И так кругом хорошо, свободно!.. И будто мы все там... такие же, только другие... Ну точь-в-точь такие же, только совсем другие...

– Как – другие? Не понимаю я, малыш, что-то... – высоко поднимая лохматые брови, спросил старик.

– Ну, как ты не понимаешь ничего, дедушка... ты глупый! – обиженно возразил мальчик и весь оживился, заторопился, даже задрожал. – Ну, понимаешь, такие, только другие... На нас платье такое красивое, и все мы ходим обнявшись, и никто нам не мешает... Так хорошо... Куда захотели, туда и пошли!.. И все стали одинаковыми... Ну, понимаешь? То у нас кровати разные и лица разные, и все разные, а то стали одинаковые... И кровати, и лица, и всем одинаково есть, и все ногти чистят.

Римлянин засмеялся. Четвертый больной pokrивил свои язвы. Старик с недоумением оглядел палату.

– Ну, ну? – нерешительно кивнул он головой.

– И оттого всем хорошо!.. Только, дедушка, я смотрю и думаю: это не теперь, это когда будет... Тут я стал плакать, а потом думаю: ну, ничего, я подожду... А потом... Чего они смеются, дедушка?

Он показал худеньким пальчиком на римлянина и четвертого. На больших наивных глазах выступили слезы, чистые и крупные.

Старик погладил его по голове и сказал нежно и ласково:

– А ты не смотри, что смеются... Они сами не знают, чего смеются. Это неверие в них смеется. А ты верь, детка... Бог тебе, может, указание посылает!

– Черт знает, что такое! – раздраженно заметил четвертый больной. – Забывает мальчишке голову всякой ерундой... Какое указание?.. Чем прикажете верить?

Старик сурово повернулся к нему.

– А такое указание!.. Такая вера!.. Тебе не понять. Чтобы понять, надо сердце очистить, от разума отказаться...

– Благодарю покорно! – насмешливо кивнул головой четвертый; больной.

– Ты только своей злобой болен... Обо всем рассудить хочешь. Все тебе объясни и в рот положи. А ты просто верь!.. Глаза закрой и с открытым сердцем верь!.. Ерунда, говоришь?.. А что во всем мире свет живет и каждая душа дро-

жит... это ерунда?.. Ну и пусть ерунда!.. С ерундой-то жить легче, а ты своим разумом кичишься, все выпытываешь да высмеиваешь. Что ж, тебе легче от того?

Римлянин опять засмеялся.

– Нет, что ж... сон красивый. Глупо, но красиво... Я сны люблю.

Четвертый больной не обратил на него внимания.

– Я, дед, по крайней мере, знаю, что знаю... Меня не надуешь!.. Жизнь – бессмыслица, такую я ее и вижу!.. Какое мне дело до твоего Бога! Где он? Пусть придет и скажет... Почему я обязан Его выдумывать?.. Меня красивыми снами не обморочишь... Дудки!.. Я знаю цену всем вымыслам. Пусть, если хотят, дети и эпикурейцы живут снами и мечтами. Для меня красота не в снах, а в правде...

– А ты правду знаешь?

– Не знаю, но хочу знать!.. А одну правду так и знаю...

– Какую? – недоверчиво покачал головой старик.

– А ту, что все ерунда, глупость и гадость!.. И все кончится смертью. Есть ли там какой смысл... «там»... мне дела нет!.. А что здесь никакой правды нет, а есть одно сплошное страдание, это я знаю – с этим и в угоду какому угодно Богу мириться не хочу!.. Вот и все...

– Все ли? Смотри! – опять покачал головой старик.

– Ну... еще могила и черви... О, черт!

Больной истерически взвизгнул и не то засмеялся в дикой злобе, не то всхлипнул. Старик тяжело вздохнул и не отве-



тил.

Зато римлянин брезгливо поморщился и сказал про себя:  
– И не удавится... Только тоску наводит.

Новый больной дикими стеклянными глазами с невероятным устремлением смотрел на них, точно хотел пронизать их души насквозь до самого дна.

– Дедушка, а я буду каждый день сны видеть! – неожиданно заявил мальчик.

– Видь, видь, птенчик Божий! – трогательно погладил его по голове старик. – Видь. И другим, может, в твоих снах правда откроется. А хоть и не откроется, они сами в них свою правду найдут... Так-то!

Новый больной все смотрел кругом блестящими дикими глазами.

## II

Высокая белая дверь широко распахнулась. Вошла та же равнодушная сиделка и сказала:

– Доктор!

Что-то белое, очкастое, толстенькое и кругленькое вкатилось в комнату. За ним толпой вошли белые сухие фигуры, с засученными по локти железными руками и как будто без лиц.

Доктор быстро подкатился к кровати римлянина. Тот выпрямился и сел поудобнее. Новый больной только теперь заметил, что ноги римлянина, куда, видимо, ушла вся болезнь, совершенно неподвижны.

– Как себя чувствуете? – сухо и коротко выталкивая слова, точно вместо живых человеческих звуков из горла его выскакивали буквы и цифры, спросил доктор.

Римлянин с добродушной иронией поднял на него сонные красивые глаза.

– Должно быть, превосходно, доктор. Прикажете, пожалуйста, раньше подавать завтрак и сделать мне ванну. Я не могу переносить грязи. А потом я хотел спросить: можно мне иметь цветы?.. Это все-таки красиво, а тут скверно. И потом – разрешите читать, скучно.

Доктор внимательно смотрел на него круглыми блестящими очками, под которыми не чувствовалось глаз.

– Цветы? Книги?..

Он подумал. Лицо его ничего не выражало, и почему-то римлянину показалось, что где-то под черепной крышкой доктора, как в книжном шкафу, открылась какая-то полочка.

– Цветы можно... Книги только легкого содержания.

– Я хотел бы поэтов... Ну, Гейне, Бодлера, Оскара Уайльда...

Доктор опять подумал, открывая другую полочку.

– Стихи можно. Это не вредно, – сказал он. – Разденьтесь.

Из толпы белых безличных фигур автоматически выдвинулась одна и помогла больному.

Розовая статуя с выпуклой грудью, мраморной линией шеи и плеч и с белыми мертвыми ногами, обнажилась под холодным белым светом окон. Доктор торопливо осмотрел ее. Его короткие тупые пальцы бегали по большому прекрасному телу, как паучки, выстукивая и подавливая.

Потом блестящие круглые очки повернулись к своим спутникам и что-то сказали на незнакомом, странном, мертвом языке. Другая из безличных фигур также автоматически развернула большой лист, весь разграфленный и испещренный знаками, и записала. Римлянин невольно следил за писавшими, покрытыми рыжим пухом мясника, руками.

– Следующий! – стремительно вытолкнул доктор и откатился к старику.

Тот медленно встал ему навстречу.

– Ну, что? Как? – устремляя сквозь очки что-то пронзи-

тельное, напоминающее глаза, спросил доктор.

– Что ж, ничего... все по-прежнему, слава Богу, – покорно и вместе важно ответил старик, сам снимая халат.

Обнажилось длинное старческое тело с острыми лопатками, впалым животом, вылезшими ребрами и сухой темной кожей, на которой время начертало вечные знаки морщин, точно на древнем пергаменте иероглифы прежней забытой жизни.

Опять доктор что-то сказал на непонятном языке, и опять также автоматически записала его слова белая мертвая фигура.

– Ничего не желаете? – коротко спросил доктор.

– Что ж делать?.. Ничего. Всем доволен. Воля Божия... – опять повторил старик со смирением.

Мальчик, худенький и дрожащий, уже заранее сбросил халат и стоял у кровати, скорчив от холода свое посинелое искривленное тельце. Доктор быстро и внимательно осмотрел его и вдруг повернулся к спутникам и что-то скоро-скоро заговорил, точно посыпал.

Среди холодных белых фигур произошло движение. Одна за другой они стали удивленно осматривать худенькое напуганное тело. Головы их наклонялись и подымались, как мертвые. Послышались странные, короткие, удивленные восклицания. Доктор опять заговорил, водя короткими пальцами по дрожащему от холода посинелому телу, как будто стал доказывать сложную задачу. Белые фигуры шевелились, и

нельзя было понять, как они относятся к словам доктора.

– Да, конечно! – неожиданно на живом языке сказал доктор и, махнув мальчику рукой, чтобы он одевался, покати́лся дальше.

Около четвертого больного уже копошилась сиделка, снимая халат. Больной неуклюже и беспомощно переваливался в ее сильных руках, тупо тыкая и мешая своими бесполезными обрубками. Обнажилось огромное вздутое, все покрытое язвами и обмотанное бинтами тело. Нудный сладковатый запах разложения тонкой струей потянулся в холодном воздухе палаты. На лице доктора ничего не отразилось. Он коротко осмотрел эту зловонную, лишенную образа массу кровоточащегося мяса и сделал знак сиделке. Та поспешно стала закрывать больного.

Больной испуганно и жадно следил глазами за каждой черточкой непроницаемого лица доктора, видимо боясь, что тот отойдет, ничего не сказав, как было в прошлый раз.

– Доктор! – поспешно вскрикнул он, когда доктор сделал движение отойти. – Ну, как я?.. Мне кажется, что немного лучше... Ноги не так болят и новых ран нет... И потом я сегодня превосходно спал...

– Да, да... это хорошо... – равнодушно ответил доктор и опять тронулся с места.

Больной протянул искалеченную руку, точно хотел схватить доктора за халат, и заторопился, боясь, что не успеет сказать всего:

– Я только хотел спросить вас: это ничего, что волосы так лезут? Я думаю, это от жара... У меня, должно быть, инфлюэнца... Доктор?.. И потом, мне кажется, что в коленях появилась какая-то опухоль... и вот тут... это, впрочем, бывает от ревматизма... у меня ведь застарелый ревматизм. Но все-таки... как вы думаете?

– Это ничего, это бывает... – торопливо ответил доктор и опять повернулся.

– И потом, – еще стремительнее, уже почти захлебываясь, метнулся больной, – я хотел вас попросить... мне кажется, что облатки, которые вы мне прописали, мне не помогают... нельзя ли чего-нибудь, что возбуждало бы аппетит... я почти ничего не ем. Доктор, я хотел, чтобы вы меня как-нибудь осмотрели особо... потому что... да, доктор, я бы хотел попросить, нельзя ли каждый день теплую ванну?.. Мне почему-то перестали делать, а мне от них было лучше и вот моему товарищу, – он показал на римлянина, – они тоже очень помогают... доктор...

Доктор пристально и терпеливо смотрел на него круглыми блестящими очками, как бы ожидая, чем он кончит. Потом быстро повернулся и покатился к новому больному.

Остановленный на полуслове полуразвалившийся человек тоскливо заметался, и судорога беспомощного отчаяния исказила его ужасное лицо. Он все еще что-то говорил и двигал обрубковатыми руками, точно силясь уцепиться за что-то.

– Новый? А, да... – сказал доктор, останавливаясь перед сидящим больным. – Разденьтесь.

Новый больной продолжал неподвижно сидеть.

Сиделка двинулась к нему. Он повернул к ней свою железную шею и взглянул прямо в глаза блестящим грозным взглядом.

– Это лишнее! – сказал он резко и громко. Доктор пожал плечами.

– Надо же осмотреть, – сказал он.

– Не надо, – так же громко и резко возразил больной.

Круглые блестящие очки изумленно блеснули. В группе белых фигур произошло какое-то движение.

– Вы, значит, не хотите лечиться? – спросил доктор.

– Нет.

– Но вы больны, – все выше и выше подымая плечи, сказал доктор.

– Знаю.

– И не хотите лечиться?

– Нет.

Доктор развел руками. Белые фигуры шевелились растерянно и недоуменно. В этой растерянности было что-то глупое, как у людей, уверенно шедших по совершенно правильному пути и вдруг неожиданно треснувшихся лбами о внезапно выросшую преграду.

– Но вы больны! – вразумительно и совершенно бестолково повторил доктор.

– Да.

– Вы умрете!

– Я все равно умру, как и вы... – резко ответил больной.

– Чего же вы хотите?

– Может быть, бессмертия, может быть – просто счастья, – с неуловимой иронией, в которой было что-то страшное, ответил больной.

Доктор высоко поднял брови, плечи, очки, надулся и пре-  
вратился в какой-то белый шар.

– Но это невозможно... Надеюсь, это вы понимаете все-  
таки?

– Понимаю, и именно потому ничего не хочу. Оставьте  
меня в покое, – уже с гневом сказал странный человек, и  
негнушная железная шея его налилась синими жилами.

Доктор отодвинулся.

– Тогда зачем же вы поступили в больницу? – упавшим  
голосом спросил он.

– Меня посадили насильно. Это было выше моей воли.  
Но вы не беспокойтесь... долго я вас обременять не буду. Не  
имею никакого желания. До свиданья... Вы мне надоели!

Доктор и все белые фигуры зашумели, взметнулись, как  
листья осенью. И вдруг вся белая толпа повалила прочь из  
палаты, размахивая руками и возмущенно оглядываясь. Вы-  
сокая дверь с шумом захлопнулась, и в палате настала тиши-  
на.

Новый больной все так же сидел на своей кровати. Осталь-



ные издали смотрели на него с удивлением, но он уже не обращал на них никакого внимания, точно они сразу потеряли для него всякий интерес.

Наконец римлянин засмеялся.

– Это мне нравится! – сказал он. – Красивый жест!.. Вы – стоик!

Новый больной не ответил.

– Что ж, если вам так хочется умереть, то конечно... – продолжал римлянин, снисходительно улыбаясь. – Но я не понимаю, к чему так торопиться... это всегда успеется.

– Вы не понимаете! – язвительно заметил четвертый больной. – Ну а я вот понимаю... Конечно, лучше сразу смерть, чем это бесконечное мучительное ожидание...

– В жизни все-таки много и хорошего! – раздумчиво перебил римлянин.

– Что?.. Ванны, завтраки и ногти?.. – еще язвительнее возразил четвертый больной.

– Не только это...

– Ну, глупые книги и цветы, которые завтра завянут?

Гордая и жестокая складка мелькнула между прекрасными бровями.

– Да. Это красиво. И это лучше бесполезного нытья, которое мы слышим тысячи веков именно от тех людей, которые не умеют в своей жизни создать ни одного красивого момента, которые живут, как скоты – тупым и пошлым стадом, которые не знают ни вдохновения, ни экстаза, ни веры, ко-

торые дорожат только своим драгоценным брюхом, которые ноют, гнут, проклиная жизнь и все живут и живут, пока сама смерть с отвращением не уберет их в помойную яму...

Он гордо кивнул головой и отвернулся, закрыв прекрасные глаза, будто ему не хотелось смотреть на тусклую, жалкую, бессмысленную картину, которую он видел перед собой.

Четвертый больной шевелил дрожащими губами, усиливаясь найти слова. И вдруг заплакал неожиданно, жалко и беспомощно.

Мальчик испуганно прижался к старику.

– Вот оно... – глухо, но растерянно сказал старик. – Вот оно... без веры-то... что делается... а?

Он беспомощно зашевелил бородой и развел руками, не находя слов, позабыв те, что говорил при этом ужасном последнем плаче.

Долго было молчание. Римлянин лежал с закрытыми глазами, и меж бровями его все не сходила жестокая гордая складка. Мальчик испуганно переводил глаза с одного лица на другое. Тихий плач, жалкий, как у обиженного ребенка, с чуть слышными причитаниями и всхлипываниями, слышался из-под одеяла на четвертой постели.

Старик наконец зашевелился. Он растерянно и как бы виновато посмотрел на всех и нерешительно спросил:

– А что насчет мальчонки-то говорили, а?

Римлянин открыл прекрасные глаза.

– Они говорили, что мальчик выздоровеет, – сказал он и добродушно-иронически улыбнулся.

Старик всплеснул руками.

– Боже ты мой!.. Вот... Наука-то, а?

Новый больной неожиданно громко и нагло захохотал.

### III

В палате было темно. Только в углу на железном крюке тускло светился закопченный ночник и от него жуткие тени ходили по стенам. За окнами горели далекие огни другого дома, но между ними и окнами палаты стояла черная непроницаемая тьма.

Все спали. На каждой кровати чернели скорчившиеся неподвижные тела. Четвертый больной тяжело и нудно храпел, и казалось, его храп, как зловоние, наполняет воздух. Старик кашлял во сне, и в его старчески дряхлом покашливании нельзя было узнать того торжественного глухого голоса, который звучал днем. Точно этого громадного, со сверлящими, как бурава, глазами, с огромными рабочими руками и торжественным голосом старика подменили и положили на его кровать дряхлого, страдающего, хлипкого старикашку. Ровно и трудно дышал римлянин, слабо стонал во сне маленький мальчик. И все эти звуки сочетались в странную, жуткую мелодию никому не слышного жалкого страдания.

Только новый больной все так же сидел, неподвижно чернея в сумраке. Также напряженно белела его голая негнушащая шея и также блестели немигающие глаза.

Днем он все время молчал и, казалось, уже не слушал никого. От завтрака и лекарств, которые прислали доктора, он отказался. Ему предлагали лечь, он не отвечал. Наконец его

оставили в покое, и весь день вся палата была подавлена его безмолвным присутствием, точно нечто громадное, непостижимое и зловещее вошло в комнату и придавило всякую жизнь.

Он сидел в глубоком молчании и неподвижности камня. Но если бы кто-нибудь в эту ночь раскрыл его голову и взглянул на мозг, он отпрянул бы в ужасе.

В узкой костяной коробке, наполненной жидким непонятым веществом, в горении которого тайно и непостижимо совершается жизнь, диким хаосом крутились какие-то образы, как бы озаренные зловещим огнем близкого пожара.

Все – солнце, человечество, крутящаяся в неведомом законе цветущая земля, образы нежных и прекрасных женщин, величавые купола храмов и пагод, вершины гордых пирамид, музыка любви, нежная ласка весенних вечеров и очарование лунных ночей и радость солнечных утр, величие звездного мира, борьба народов, темное сладострастие, нагота сплетающихся в невыразимом наслаждении тел, ряды статуй и книг, громы войн, бури океанов и микроскопическая жизнь неведомых телец, болезни, радости, счастье и горе, жизнь и смерть, прошедшее, настоящее и будущее, мечта о далеком светлом рае и образ великого непостижимого Бога, – все в бешеном вихре крутилось в этом маленьком мозгу человеческом, наполняло его хаосом, расширяло хрупкие костяные стенки до пределов бесконечности, и вся вселенная, сдавленная и опоясанная мыслью одного человека, как

острым стержнем, пронзалась насквозь:

– Отказываюсь!.. Вне воли моей – отказываюсь!

И в мертвом молчании, в хаосе беззвучной борьбы, где дух гордый и непреклонный вздымался, как скала над бурей океана, сидела эта неподвижная человеческая фигура всю ночь. И до самого рассвета, когда побелели стены и синий холод нового дня встал в палате, все так же блестели неумолимые глаза и ни на йоту не погнулась железная шея.

На рассвете же больной встал, стремительно и твердо прошел к стене, снял ночник, спокойно облил керосином свое белье, волосы и халат, со звоном отбросил стекло и слабым желтым огоньком поджег себя.

Огненным столбом, в черном дыму клубами бешено закрутившимся к потолку, вспыхнул живой факел и зловещим багровым светом безумно ярко осветил всю палату, заблестевшие окна, смятенные, кричащие и мятущиеся человеческие фигурки с жалкими, полными ужаса и отчаяния лицами.